

Д.Л. Мордовцев
«Царь Петр и правительница Софья»

Гл. XII

Царевна Софья у гадалки

Рассказанные в предыдущих главах ужасы, без сомнения, глубоко возмутительны. Мало того, они бессмысленны, как все в жизни, где главным движущим фактором является человеческая глупость. Честолюбие царевны Софьи Алексеевны и боязнь потерять власть в союзе с таким узким умом, каким обладала эта царевна, заставили ее сделать своим орудием грубую силу, которая, кроме глупости и звериных инстинктов, ничем другим не обладала.

Стрельцы сделали все, чего от них ждала недалекая царевна. Но глупость — оружие опасное и обоюдоострое. Стрельцы побили всех, кто стоял на дороге честолюбивой царевны. Они возвели на престол, как того желала Софья, больного и слабоумного царевича Ивана. Они же сделали Софью соправительницей двух малолетних царей.

Софья, таким образом, по милости стрельцов, достигла всего, чего искала. Она правила государством.

Но в первые же дни торжества она почувствовала, что ее грызет глубокое беспокойство.

Мало того, беспокойство сменилось страхом. Она не понимала самой простой истины, что глупость и грубая сила, в конце концов, погубят того, кто вступает с ними в союз; однако чувствовала, что совершается что-то неладное.

В последние дни к ней доходили вести одна другой тревожнее. **Родимица**, собиравшая по всей Москве слухи и сплетни, начиная от торговки и потаскуш — монашек и кончая боярынями и княгинями с их санными девушками, Родимица, обладавшая нюхом ищейки, и Васенька Голицын, у которого при его богатстве и связях находились везде шпионы, проникавшие во всякую щель, — и Родимица, и Голицын открывали ей глаза на все, что не могло проникнуть во дворец.

Вот и ночь давно настала, а царевне не спится...

Что ночесь мне, младшеньке, не спалось, не грезилось,
Не грезилось — много думалось...

— А! Да отвяжитесь вы, думы темные, уходите вы за сине море!

Она нетерпеливо подошла к окну и стала глядеть на спящую Москву.

— Не спит она, не спит... Я слышу, как копошатся в ней черви... Передавить червей надо!..

— Раскольники все мутят, а **Тараруй** масла в огонь подливает: чувят, что я стрельцов посадила себе на шею, так и им мнится на стрельцах выехать... Как же: не стрельцы уж они, мужичье серое, а надворная пехота... Я их избаловала: ежеден на «верху» обедают по два полка, пьют — едят с царского стола... Посадила свинью!.. Вот теперь себе **столп поставили**, монумент тоже! Монумент Тарарую! Ишь ты, **новый князь Константин** выискался!

Она задумалась, и счастливая улыбка заиграла на ее полных, чувственных губах.

— Васенька! Цветик мой лазоревый! Как жарко обнимал ноне... На колени к себе посадил... Экий шутник: я, говорит, теперь все московское государство обнимаю, Великую, и Малую, и Белую Русь у себя на коленях держу...

Но улыбка опять исчезла с ее полного лица.

— Вон онамедни у стрельцов дума была: изыскать бы-де старую православную веру, бить челом, чтоб патриарх и власти дали ответ от божественного писания, за что-де они старые книги возненавидели и возлюбили новую латино-римскую веру... Мужики непетые! Мало вас в срубях жгли за старую веру... Тоже думают, а челобитья сложить никто не умеет — умники! Призвали **чернослободца** Сеньку: нет ли у вас грамотея, челобитку-де состряпать. Ну и нашли чернеца Сережку ревнителя-де отеческих преданий и **твердого адаманта**... Хорош адамант! Булыжник с мостовой... настрочил Серьгушка челобитье: попекитесь-де, братия! Погибаем от новых книг! Не дайте нас в поругание, как прежде братью нашу — жечь да мучить...

Где-то пропел петух, а там другой, третий...

— Трикраты петел возгласи... Ах, как ему батюшке, тяжело было, ах, как тяжко!

Но не это не давало ей спать. Черви в Москве копошатся!

— К Тарарую, слышь, приходили с челобитьем, и Серьгушка тут же: инок-де я тих и смиренен, не родословен и немногословен, не навывчен-де клюкам их и высокоречию, а надеюсь-де на батюшку Христа... То-то, надейся!.. Да и этот краснойбай выискался, **Микишка Пустосвят**: этот-де всем уста заградит... Подожди, Микита, **что то в срубе скажешь**! А то на! Собор им подавай... Как бы с собора да в сруб прямо не угодили и с Тараруем.

Больше всего ее самолюбие уязвлялось тем, что она видела, как у нее за спиною правит московским государством этот горлан Хованский, старый Тараруй, и кичится своим родом, говорит, что он родовитее Милославских, и Нарышкиных, и Романовых... Что, говорит, Романовы!? Захудалый род: потому-де и выбрали на царство Мишу, что из захудалых, что никому из родовитых не будет завидно. А мы-де, Хованские, **от Гедиминов род ведем**.

— То-то Гедиминыч! Ну и ступай в Литву. Нет, я тебя не пушу в Литву... не бывать этому! Уж кому бы пристала шапка Мономахова, и бармы, и диодима, так это моему соколу Васеньке... Да, может, еще и наденем на себя эту шапочку...

И ей страстно, мучительно захотелось прозреть в будущее. Но кто может узнать судьбу свою? Одному Богу она известна: от рождения человека и раньше того — судьба его записывается на небесах в книгу живота... Вот бы взглянуть на ту страницу, где прописана ее, царевны Софьи Алексеевны, судьба, да еще судьба одного человечка, того, который сегодня вечером... нет, не вымолвится это сладкое словечушко, не вымолвится... И яркая краска залила полные белые щеки царевны.

Но ведь Родимица не раз говорила ей, что она знает такую женку благочестивой жизни, которая предсказывает судьбу человека, лишь только посмотрит на него. Так она предсказала смерть мужу Родимицы. Надо повидать эту женку, надо сейчас же!..

Петухи еще пропели. Это уже в третий раз. Да и светло совсем на дворе. Теперь бы и позвать эту женку. Нет, нет! Пусть не знает, кому она о судьбе рассказывает. Надо к ней сходить, надо позвать Родимицу.

И царевна идет в свою опочивальню.

— Счастливая! — говорит она как бы про себя, увидав, что перед ее кроватью, на ковре, закинув за голову руки, спит молодая девушка.

Это была ее молоденькая постельница, Мелася, бывшая полонянка, вывезенная из Крыма послем Сухотиным и, как не помнящая родства, подаренная им царевне Софье Алексеевне. Царевна привязалась к ней и сделала ее своею младшею постельницею.

Мелася, поправив с вечера, после ухода князя Василия Васильевича Голицына, постель царевны, по обыкновению в ожидании ее легла на ковер у самой постели и крепко заснула. Она спала на спине вся раскрасневшаяся, и розовые, блаженно улыбающиеся губы ее что-то шептали.

— Вот счастливица! Никакой-то у нее нет заботушки... А, кажись, она во сне говорит что-то:

Девушка действительно грезилась вслух:

— Карадаг-мурза ищет меня по всему Крыму...

— Крым, бедная сиротка, вспоминает свою неволю.

— Максимушка, серденько мое, — шептали губы сонной девушки.

— А! Максимушка, серденько... Так это, стало, и впрямь **Сумбулов** зазнобил ее сердечушко.

Но ей было не до грез молодой постельницы. Ее самое подмывали грезы наяву...
Надо узнать судьбу!

Она тихонько проходит в помещение Родимицы и застает ее уже на ногах.

— Матушка царевна! — удивляется постельница. — Что так рано изволила встать?

— Да я, Федорушка, и не ложилась.

— Мати Божия! Да что ж это такое!

— Не спалось, Федорушка... думушки меня одолевали, о своей судьбе разгадалась, а сон — от и ушел от меня за сине море: я посылала за море мои думушки, так нет, не ушли, а сон в бегах, в нетях обретается. Знаешь, Федорушка, что?

— Что, моя золотая царевнушка?

— Я хочу о судьбе своей погадать у той вот женки, что ты сказывала.

— Это у Волошки, стало быть?

— Да-да, у ведуньи... Можно мне к ней пойти, да так только, чтоб она не догадалась, кто я?

— Можно, можно, государыня... Я ей скажу, что привела к ней сенную девушку — погадать о суженом.

— Добро, добро... Теперь не рано идти?

— Как раз в пору, она на заре гадает.

Переодевшись наскоро и закутавшись, как того требовало приличие, они переходами прошли к боковым воротам, где часовые и дворник, хорошо зная Родимицу, пропустили их без всякой задержки.

Волошка жила у просвирни Успенского собора. Родимица постучалась к ней, сопровождая свой стук неизбежным: «**Господи Иисусе**, помилуй нас!»

— Аминь! — было ответом из-за двери, и Родимицу впустили.

Через несколько секунд позвали и царевну. Ноги ее дрожали, когда она вступала в горенку, всю пропахшую сушеными травами, а руки были холодны как лед. В горенке теплилась лампадка. Царевна подняла взоры на образа и перекрестилась, но тут чуть не вскрикнула от ужаса... «Ох!..» Под самыми образами сидело что-то страшное, с крючковатым носом, и глядело на нее огромными круглыми глазами, которые не мигали... Это была сова. На лавке же сидел черный кот с желтыми глазами, которые сверкали зеленым светом.

Царевна, несмотря на свое политическое мужество, тут, в этой горенке, чувствовала такой страх, что готова была бежать... Эта сова точно читает ее мысли — глаз с нее не сводит... Вот-вот заговорит человеческим голосом...

— Так ты, девынька, спознать судьбу свою хочешь?

Софья даже вздрогнула, ей почудилось, что это заговорила сова.

— Так выдь, матушка, — обратилась она к Родимице, — только три четверицы глаз могут видеть неведомое: Христовы и Богородицины (она указала на образа Спасителя и Божией Матери), это божеская четверица; ее глазыньки (она указала на царевну) да мои — это человечесья четверица; а третья четверица — это ихняя, животная, — и она указала на неподвижные глаза совы и на искрящиеся глаза кошки.

Родимица вышла. Старуха подошла ближе к царевне.

— А покажь мне глазыньки свои, девынька, — сказала она ласково, — не кутайся так... Мне глазки твои прочесть надо... хоть я неграмотная, а Господь научил читать Его, света, книгу животную.

Тут только Софья увидела лицо и глаза своей собеседницы, это был смуглый цыганский облик, а черные глаза с большими белками напоминали глаза того «мурина»,

которого она видела на одном образе, изображающем «каженика» царицы Савской, крещаемого Филиппом. Софье казалось, что эти глаза действительно читают ее душу, ее судьбу, прошедшее и будущее.

— Дай теперь правую рученьку, девынька, — сказала Волошка, перестав глядеть в глаза царевны.

Софья подала свою пухлую руку, разжав ладонь.

— Хоть бы не сенной девушке такая ручка, — сказала Волошка, проводя костлявым пальцем по линиям ладони, — боярская ручка.

Волошка подошла потом к сове и сказала какие-то непонятные слова. Сова защелкала клювом.

— Знаю, знаю, совынька: уразумела речь твою.

Затем старуха подошла к коту и тоже что-то пробормотала. Кот фыркнул и замыкал.

— Добро, добро, котик: и твои речи уразумела.

После этого старуха вышла в сенцы и принесла оттуда ведро с водой. Поставив ведро на стол, она сняла с полки образ Спасителя и накрыла им ведро, ликом к воде. Затем то же проделала с образом Богородицы. При этом она все что-то шептала.

Поставив образа на место, она стала смотреть в ведро, в воду. Долго она смотрела, разводя руками, и, наконец, заговорила:

— Вижу, вижу, девынька, хороша твоя судьба... Высоко поднимешься ты, ух! Высоко! Выше облака ходячего... Должно, знатному боярину сенная девка приглянется, а либо и князю... Высоко так и светло вокруг тебя, девынька.

Она три раза дунула на воду. Вода всколыхнулась и опять успокоилась.

— Что ж это, девынька? Ты еще выше поднялась, а внизу, кажись, два гробика... Подь, посмотри, девынька, твои глазки молоденьки, лучше увидят; а мои стары стали.

Страшно, ух как страшно! Но Софья подошла и с боязнью заглянула в воду.

— Я ничего не вижу, — пробормотала она.

— Вновь, девынька, с непривычки.

Софья отошла и села на лавку. Ноги у нее подкашивались.

— Так, так, девынька, два гроба: один поболее, другой помене.

Старуха еще три раза подула на воду крест накрест. Вода успокоилась. Старуха смотрела долго, и на лице ее все более и более изображался ужас...

— Свят-свят-свят!.. Что ж это такое! Я и сказать боюсь... Софью обдало холодом. Она вскочила.

— Нет, нет! Не бойся, девынька! — остановила ее старуха. — Тут ничего нету страшного... Ух, как хорошо тебе, матынька! Только мне и сказать боязно...

— Почто боязно? — хрипло спросила Софья.

— Ох, боязно! Ни за что не скажу... **Боюсь «слова и дела»...**

— Говори, не бойся, сказывай! — настаивала царевна.

— Ох, не скажу! Ох, запытают! — твердила старуха.

— Говори, я никому не скажу... Образ поцелую!

— Ох, девынька, страшно мне, без клятвы-то «слова и дела» боюсь...

— Клянусь! — с силой сказала Софья.

— На образе бы, девынька, — робко заметила старуха. Софья потянулась за образом. Старуха предупредила ее и достала икону Спасителя.

— На, золотая моя, побожись на образе, что никому по смерть твою не откроешь того, что я скажу тебе о твоей превысокой судьбе.

Софья три раза перекрестилась и подняла вверх правую руку.

— Клянусь всемогущим Богом никому не открывать того, что я от тебя услышу.

И царевна поцеловала образ. Старуха снова стала смотреть на воду.

— Вижу я, вижу: сидишь ты на золотом столе, как царя Давида пишут, и на голове у тебя злат венец, да не такой, каким поп в супружество венчает, а якобы царский; и в одной ручке у тебя золотой подожек с орлом, а в другой золотое яблоко с крестом...

Софья не вытерпела и подошла к столу.

— Покажь, дай я посмотрю.

— Гляди, милая, гляди.

Софья уставилась в воду, пожирала глазами ее глубь, но ничего, кроме своего лица, не видела, но без венца...

— Ничего не вижу, — с дрожью произнесла она.

— Внове, золотая, внове. Да оно и со страху... Дай-кося я еще погляжу.

И старуха опять наклонилась над водой. Софью била лихорадка. Глаза совы, казалось, смотрели ей в душу и читали ее... Какая страшная птица!

— Господи Боже мой! — шепотом заговорила старуха как бы про себя. — И она не одна сидит на золотом столе, а рядом с нею муж некий благообразный, с брадою, и на его голове тоже золотой венец...

В этот момент кот фыркнул и громко, дико замыкал. Сова слетела со своего шеста и заметалась по горенке, зацепляя крыльями за голову растерявшейся от неожиданности и испуга царевны... Она с ужасом выбежала из этого страшного места и опомнилась только в своей опочивальне.<...>

Ч.2.

Гл. I

Медведицу на рогатину

<...>А там мутит сестрица милая, царевна Софья Алексеевна. Просидев на батюшкином троне семь лет, поддерживаемая стрелецкими копьями, она стала догадываться, что скоро, скоро братец Петрушенька спихнет ее с этого места, да еще и в монастырь запрячет... Ну и стала мутить... Слыша стороной, что «озорник» — братец недоволен крымским походом и постыдным отступлением Голицына из-под Перекопа, она, распаленная еще большею страстью к своему идолу Васеньке, шлет ему навстречу безумное послание.

«Свет мой, батюшка, надежда моя, здравствуй на многая лета! — восклицает она в порыве любовного припадка. — Зело мне сей день радостен, что Господь Бог прославил имя свое святое, также и Матери своя, пресвятая Богородица, над вами, свет мой. Чего от века не слыхано, ни отцы наши поведаша нам такого милосердия Божия. Не хуже израильских людей вас Бог извел из земли египетския, тогда чрез Моисея, угодника своего, а ныне через тебя, душа моя. Слава Богу нашему, помиловавшему нас чрез тебя. Батюшка ты мой, чем платить тебе за такие твои труды неисчетные? Радость моя, свет очей моих! Мне веры не иметца, штобы тебя, свет мой, видеть. Велик бы мне день той был, когда ты, душа моя, ко мне будешь. Если бы мне возможно было, я бы единым днем тебя поставила пред собою. Писма твои, врученны Богу, к нам все дошли в целости. Испод Перекопи пришли отписки в пяток 11-го числа. Я брела пеша испод Воздвиженкова, только подхожу к монастырю Сергия — чудотворца, к самым святым воротам, а от ворот отписки о боях. Я не помню, как взошла, чла, идучи! Не ведаю, чем ево света благодарить за такую милость ево, и матерь ево, и преподобнаго Сергия, чудотворца милостиваго. Што ты, батюшка мой, пишешь о посылке в монастыри, все то исполнила, по всем монастырям бродила сама пеша. А раденье твое, душа моя, делом оказуетца. Што пишешь, батюшка мой, штоб я помолилась: Бог, свет мой, ведает, как желаю тебя, душа моя, видети»...

Бесконечное письмо! И все «свет мой», «душа моя», «надежда моя», «батюшка мой», «свет очей моих», «братец Васенька!»

Пропадай все, а только чтоб Васенька был скорей около нее! А Васенька — седой коренастый мужчина, у которого сын уже сановник... Не беда, страсть ведь сила слепая... Но эта слепая страсть не мешает ей биться из-за власти. Она зубами за нее уцепилась и никому не хочет уступить: она помнит то, что видела Волошка в воде... Где же два гробика? Где венцы?

Кончив страстное послание к Голицыну, она спрятала его в стол, а потом долго стояла на коленях перед киотом. Вечерело. Из киота глядел на нее кроткий лик Спасителя...

Она решилась на что-то...

— Федорушка! — кликнула она в соседнюю комнату.

На ее зов явилась Родимица. Она видимо похудела и осунулась. Но Софья не замечала этого: у эгоизма, как у крота, нет глаз на многое.

— Вот что, Федорушка, — сказала она быстро, — спосылай сейчас за Шакловитым, да чтоб он захватил и Гладкого, и Чермного с товарищи.

— Слушаю, государыня, — как-то глухо отвечала постельница, нерешительно переминаясь на месте.

Это заметила Софья.

— Ты что, Федорушка? — спросила она.

— Да вот об князе Василье Васильевиче, государыня: добрые вести от него пришли?

— Добрые, добрые, Федорушка: и агарян победил, и сам к нам скоро будет.

— А Сумбулов, что ж, государыня, благополучно доехал до Перекопи?

— Благополучно, Федорушка... И добро, выиграл себе невесту.

— Кого? — глухо спросила Родимица.

— Вестимо, Меласю, Меланьюшку... Будто ты и не знаешь...

Злой огонек блеснул в глазах Родимицы, и она тотчас же вышла. Вслед за нею вышла в другую комнату и Софья. Там за пальцами сидела Мелася и усердно работала иглой.

— Ну, Маланьюшка, — сказала Софья, — скоро и тебе будет радость.

— Какая радость, государыня? — с дрожью в голосе спросила девушка.

— А боярыней скоро будешь.

Мелася вся вспыхнула, и иголка задрожала в ее руке.

— Что, рада небось? — спросила царевна.

— Я не ведаю, про что ты изволишь говорить, государыня, — еще более покраснев, отвечала молодая постельница.

— У! Хитришь у меня, девка, — улыбнулась Софья, — а кто онамедни молился со слезами: «Господи! Пречистая! Покрой своим покровом раба твоего Максима!» А? Кто этот Максимушка?

В это время вошла Родимица. Она была еще бледнее: не то страдание, не то злоба сказывались в ее блестящих лихорадочным огнем глазах. Но она старалась скрыть это.

— Федор пришел, государыня, Шакловитый, — сказала она тихо, как бы боясь, что голос ее выдаст.

Софья по-прежнему ничего не заметила и вышла. Шакловитый ждал ее в приемной. Со времени казни Хованских он, казалось, постарел и похудел, но держал себя несколько иначе, не по-дьячески, хотя лисьи хватки подьячего все еще выдавали его бывшую профессию, требовавшую кошачьей мягкости и лисьей увертливости. Он низко поклонился.

— Пойдем ко мне, Федор, — ласково сказала царевна, — а Гладкий с товарищи?

— Они не помедля будут, государыня, — отвечал начальник стрельцов, бывший дьяк.

— И добро... Мне с тобой особо надо будет поговорить.

И они вошли в молельную царевны, по-нынешнему в кабинет. Шакловитый поклонился иконам.

— Садись, Федор, — пригласила его царевна.

Шакловитый сел по привычке постоянно докладывать и писать в этой комнате к письменному столу.

— Слышно, Федор, — начала Софья, — там (она сделала ударение на этом слове), там, слышно, не похваляют нашего дела... Медведица с сынком, а пуще Бориска Голицын да Левка Нарышкин судачат, якобы князь Василий со срамом ушел из Перекопи.

— Точно, государыня, поговаривают, — отвечал Шакловитый.

— Так надо заткнуть им глотку, — сердито проговорила Софья.

— А чем ее, глотку-то, заткнешь, государыня. На чужой роток не накинешь платок, сама ведаешь, матушка.

— А мы накинем!

— Где ж этот платок?

— А ты сотки... Ты, Федор, ткач добрый, умеешь ткать.

— Недоумеваю, государыня, — улыбался хитрый дьяк.

— А пером? Оно у тебя такой уток, такие узоры тчет, что на, поди раскуси.

— Что ж я пером-то сотку, государыня?

— А похвальную грамоту князь Василью за всю его многую радетельную службу, как он поганых агарян поразил и, аки Моисей, вывел народ израильский из полону.

— Так, так, государыня: теперь уразумел малую толику.

— А уразумел, так садись и строчи: вот тебе перо и бумага.

— Добро-ста, государыня: прострочу платочек на ихний роточек.

Он сел к столу, обмакнул перо в массивную чернильницу, снова омочил перо в чернила, и привычная дьячья рука заходила по бумаге.

— Да смотри, Федор, покрепче: лучку да перцу подсыпь, — понукала Софья.

— Подсыплю, государыня, подпущу и ладонцу, оно не претит.

— Можно, что ж! Покурить ладонем не лишне.

Грамота была скоро набросана.

— А ну, ну прочти, Федор.

— По титуле, — начал Шакловитый, — мы, великие государи, тебя, ближняго нашего боярина и оберегателя, за твою к нам многую радетельную службу, что такие свирепые и исконные креста святого неприятели твоею службою не чаянно и никогда не слыханно от наших царских ратей в жилищах их поганских поражены, и побеждены, и прогнаны...

— Зело хорошо, зело хорошо! — шептала Софья.

— И обявились они сами своим жилищам разорителями, — продолжал Шакловитый, — отложив свою обычную свирепую дерзость, пришел в отчаяние и ужас...

— Так, так... зело красно!

— В Перекопи посады и села и деревни все пожгли, и из Перекопи со своими поганскими ордами тебе не показались и возвращающимся вам не явились, и что ты со всеми ратными людьми к нашим границам с вышеописанными славными во всем свете победами...

— Ну перо! Вот золотое перо! — невольно шептала Софья. — Славными во всем свете победами...

— ... возвратились в целости, милостиво похваляем.

— Постой, постой, Федор! — взволнованно говорила Софья. — Припиши: милостиво и премилостиво похваляем.

— Припишу, государыня, точно, что покрепче будет.

— Эко перо у тебя, Федор! Что за перо! Золотое! Словно жемчугом по золоту нижеет...

В это время вошла Родимица и доложила, что пришли стрельцы.

— Проведи их сюда, Федорушка, — сказала Софья.

Стрельцы вошли как-то нерешительно, словно прячась один от другого, и истово широко все разом перекрестившись на образа, низко поклонились царевне, а потом Шакловитому. Их было пять человек: Гладкий, Чермный, Кондратьев, Петров и Стрижов,

это были «заводчики», запевалы после Цыклера и Озерова. Глотки этих крикунов были известны всей Москве.

— Здорово, молодцы! — ласково встретила их царевна.

— Здравия желаем, матушка-государыня! — отвечали они в один голос.

— Садитесь, братцы, — приглашала Софья, — у меня есть до вас дело.

— Благодарствуй, государыня, на жалованье, а сидеть нам не к лицу.

— Не вприлику будет, постоим.

— Как знаете, — согласилась Софья, — а у меня к вам разговор будет не простой...

Ведомо вам, чаю, самим, что в Москве ноне деется: вас, старых слуг, ни во что не ставят, а обзавелись новенькими, потешными, да и мне за мое семилетнее державство ничего, кроме досады, не вышло, мутят меня с братом царем, так что хоть из царства вон.

Она помолчала. Упорно молчали и стрельцы, и только Гладкий нетерпеливо мял шапку в руках.

— А все от Бориса Голицына да ото Льва Нарышкина, — продолжала Софья, — меньшего вон брата с ума споили: с коих лет пить начал да бражничать с девками от живой жены, а давно ли женат? И полгода не будет... так и живет в немецкой слободе... А старшего брата, Ивана — царя, ни во что ставят, двери ему дровами завалили и поленьем, а царский венец изломали... Меня девкою называют, будто я и не дочь царя Алексея Михайловича... жите наше стало коротко... радела я обо всячине, а вон до чего дожили...

Она заплакала. Стрельцы продолжали молчать, но Гладкий уже сжимал саблю. Шакловитый прервал тяжелое молчание.

— Что ты, матушка-государыня! — заговорил он, вскакивая. — Разве нельзя князя Бориса да Льва Нарышкина убрать? Да и старую «медведицу» можно... Известно тебе, государыня, **каков ее род и как в Смоленске в лаптях ходила.**

— Жаль мне их, — отвечала Софья, — и без того их Бог убил... А вы как мыслите? — обратилась она к стрельцам.

— Воля твоя, государыня, что изволишь, то и делай, — отвечал Чермный, — а мы рады их всех за тебя хоть в сечку.

— Кузьма правду говорит, — подтвердил Шакловитый, — головки капустные в сечку, патриарха на покой, а бояре что! Отпадшее, зяблое дерево.

— И я то же говорю, — все более и более горячился Чермный, — а допрежь всего надо уходить старую «медведицу».

— А что скажет сынок? — возразил Стрижов.

— Что! А чего и ему спускать? За чем стало? — крикнул Чермный.

— «Медведицу» на рогатину и «медвежонка» туда же! — пояснил Гладкий. — Полно ему с немками на Кукуе на органах и на скрипичах играть.

Из порывистых движений стрельцов, из их речей, переходивших в угрозы, она поняла, что свирепые псы достаточно науськаны и теперь сами пойдут по следу на красного зверя...

«Гробики, гробики», — колотилось у нее в мозгу, когда она отпускала стрельцов: «Два гроба... чьи ж бы это? Один его... А другой?.. Вода не сказала этого Волошке...»